

Елена Ханенкова

## Контрапункт памяти

Иду и думаю: когда же я перестану тасовать цитаты, изъясняться фразами из кинофильмов и начну записывать собственные мысли? Отчего же они мне кажутся никчемными и недостойными чьего-либо внимания? Наверно, оттого, что так оно и есть. И мне бесконечно неудобно отнимать время у других людей. Но здесь я ни у кого ничего не отнимаю. Не далее как вчера мы решили с подругой заняться мини групповой психотерапией и записывать только то, что льется из головы само, как ручей, – без усилий и самоцензуры. И да будет так, пока мы живы.

Живы? Это понятие довольно относительно. Та жизнь, к которой мы привыкли, изменилась до неузнаваемости. Все течет, все меняется – да, конечно. Но тогда лучше не иметь никакой памяти, а мы ее, к сожалению, имеем. И чтобы не сойти с ума, надо описывать мир за окном, мир внутри, мир, который раньше был совершенно другим.

Он впервые показался мне морозным и свежим ранним зимним (или весенним) утром 1988 года. Примерно с той поры я себя помню достаточно неплохо. Натягивать комбинезон с помощью бабушки было довольно унижительным занятием – будто тебя засовывают в полиэтиленовый пакет. Ежедневный неприятный ритуал, но зато потом перед тобой весь мир. Моряки-курсанты, марширующие за окном: если повезет, можно успеть их догнать и промаршировать хоть полминуты за ними – с высоко поднятой головой и ровной спиной, и делать вид, что не слышишь, как бабушка зовет тебя позади. «Трубы так громко дудят, бабушка». Но настойчивый зов и уверенная походка бабушки не оставляла вариантов.

Бабушка была особенной, я не представляю себе, чего она могла испугаться в жизни. Потом, летом 1990 или 1991-го года, рассказывая, как они отцепили вагон, как бежали из плена, а потом от Красной армии, а потом добирались в Одессу уже после войны, я пойму, что я внучка настоящей героини – со стальным стержнем, сломанной жизнью и стойкими убеждениями. Но это будет позже, а пока она моя бабушка: самая строгая и самая умная, она ненавидит сплетниц и никогда не сидит вместе с остальными бабушками на лавочке. Она читает газеты и журналы. Берет их сразу несколько на прогулку. Мы выписываем очень много всего: для меня «Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки»; маме – журнал для врачей «Здоровье»; бабушке «Работница», «Наука и жизнь», и бесчисленное количество разнообразных политических газет. Мой шкаф забит тонкими книгами-одной-сказки, типографическая краска пахнет детством и беззаботностью.

Потом будет лето, много света и зелени, и я буду бежать по аллее к порту – туда, где гудят огромные краны, а у меня в косах банты, которые меня бесят. 1 Мая, демонстрация (хоть не ходи на нее, раз опять заставляют носить эти банты), но мы уже надули шары. Они красивые: красные, зеленые, синие. Шары продаются в квартале от нас – в киоске, там, где ходит трамвай, пересекая улицу Энгельса. А мы живем на Ярославского во втором номере – в самом лучшем доме на свете, в самом лучшем городе на свете. У меня самая лучшая мама и строгая бабушка, которая готовит вкуснее всех знакомых мне бабушек. А я вырасту и обязательно постараюсь понять, почему они бывают так печальны, после того как читают газеты.

Я горжусь мамой: она лечит людей – это самое благородное дело из всех возможных дел, и нет ничего значимее этого. К маминему кабинету очередь занимают с восьми утра. Мама работает с девяти. Огромные толпы больных всегда, особенно летом. Санаторий «Куяльник» всегда полон отдыхающих, особенно летом, и всем надо назначить лечение, осмотреть, отправить на обследование. Процедуру приема больного я досконально изучила уже годам к пяти: опросить, померить давление, проверить коленные и локтевые рефлексy, лицевые нервы – «вытяните руки, закройте глаза, указательным пальцем дотроньтесь до кончика

носа», направить на ЭКГ и т. п. Я сидела на приеме и смотрела на людей. Много, очень много людей. Мне не нравились их висящие животы, большие груди женщин; волосатые спины мужчин вызывали омерзение. Мама была существом высшего порядка, чистым божеством в белом халате, от которого всегда пахло чистотой и мамой. Красивая, с точеной фигурой, которая так никогда и не изменилась; самая умная женщина на свете с зелеными глазами, густыми каштановыми волосами, белой кожей и летними веснушками на щеках... правильные черты лица. Я и сейчас считаю, что красивее ее лица ничего быть не может. Хлопчатобумажный халат выглажен идеально, под ним летнее платье в мелкую бледно-зеленую клетку. И много солнца в окне кабинета. Когда лучи падали на чуб, волосы отдавали рыжиной – медным оттенком каштана. Волосы мама не красила, и вообще почти не красилась. Когда мама улыбалась или смеялась, сжав тонкие губы, я не могла оторвать от нее глаз. Больные приезжали к ней от Владивостока до Калининграда и много рассказывали всего интересного. Я молчала и слушала. Они привозили красную копченую рыбу, которая потом висела на кухне, привлекая всех дворовых котов. А домашний бар был забит импортным спиртным.

На кухне у нас было узко, но всегда кипела работа. Бабушка лепила ленивые вареники – доверила как-то месить мне тесто, но я, кажется, засмотрелась в окно – и тесто было тут же отобрано. «Ты несерьезная и невнимательная», – гласил вердикт. Больше мне ничего серьезного не поручали. Как-то после работы пришла мама, но, не зайдя в «большую комнату» юркнула сразу в «маленькую», которая служила кладовой. Открыв дверь, я обнаружила, что мама плачет. Об этом я сразу сообщила бабушке. Божества не должны плакать.

К нам приходила тетя – от нее пахло сигаретами и еще чем-то таким взрослым, я не хотела ее целовать – никогда. И видеть – никогда. Она была плохим человеком – я чувствовала это интуитивно, и ее дети тоже – мои кузены. С ними нужно было общаться. Зачем? Они мерзкие и все время о чем-то шептались при мне. Сестра старше на восемь, брат – на семь лет. Тетя жила где-то на Слободке. После бабушкиной смерти в 91-м каждую субботу мы ездили к ним на пятнадцатом трамвае. Зачем? Возили какой-то

сахар, ей что, тяжело самой приехать в город за сахаром? Дома у них пахло сигаретами и жиром, грязью и подсолнечным маслом. Мама жарила мне только яичницу и только на сливочном, остальное варила, и мы все тщательно мыли, а стол раз в неделю протирался спиртом. Здесь же, похоже, не мыли ничего. Тетин муж был противнее всех: в золотых перстнях и цепочках. Тетя ему изменяла. Когда меня оставляли у них, я просыпалась раньше всех и хотела бежать куда глаза глядят и никогда больше не возвращаться. Двоюродная сестра была очень красивая, как Уитни Хьюстон, темная – цыганская кровь по отцу, грудь третьего размера, талия, и глаза – с поволокой. С мамой они общались о чем-то женском. Мне это не нравилось, я ревновала. Я знала, что такой женщиной, как сестра, мне не быть никогда. За ней бегала вся Слободка. А брат был худой и длинный и постоянно что-то паял или проявлял фотопленку, или записывал кассеты с новой музыкой. У дяди были импортные пластинки «Rolling Stones» и «Boney M» и вечная сигарета во рту.

Летом мы ездили на причал под Ильичевском – причал Бугово. Деревянный домик, свежий воздух, журналы, книги, железный шезлонг и раскладушка. Мокрая панамка с корабликами накрывает мне глаза, и я тону – мне четыре года или пять лет, – и я тону, глотаю воду. Потом кто-то больно впивается в руку и вытягивает из воды. Мама, злая, кричит, начинается дождь, поднялись волны. «Я не виновата, мама, не кричи».

Я никогда не кричу. Мне удивительно, когда люди орут, я не могу к этому привыкнуть. Лет в пять на меня впервые поднял руку мальчик в парке, ну как руку... лопатку. Я не нашла ничего лучше, чем заплакать. Я не понимала и не догадывалась, зачем может одно живое существо захотеть причинить боль другому живому существу. Плакала я скорее от обиды, оттого, что такое может быть. А потом я увидела, как мальчик возле обсерватории бьет дерево. Я всегда плачу скорее от бессилия перед жестокостью жизни. Много лет спустя психологи мне советовали пережить вновь этот эпизод и прокричать «не надо!» или что-то такое. Я не уверена, что это чем-то поможет.

Кроме первомайских демонстраций ярким событием в парке были цветочные выставки: чернобривыцы, «хлопающие буль-

башки», красные цветы на газонах и еще какие-то – фиолетовые. Концерты в «Зеленом»: бесконечные Аланы Чумаки и похожие на него шарлатаны, концерт Пугачевой, столпотворения. И все это во времена, когда степенные граждане еще ходили на степенную службу с чешскими чемоданами в руках, носили рубашки-безрукавки, а осенью пиджаки, бегали за троллейбусами – чтобы не опоздать к 9:00. И казалось, так будет всегда. Но сначала не стало бабушки – мир сдавил меня своими тисками, затем прижал к земле и больно ударил по голове в первый раз, но далеко не в последний. Кладбище было далеко – за Таирова. Но сначала долго плакала мама. И стояла на полу на коленях, и просила у Бога прощения – в распахнутое окно на первом этаже. О существовании Бога я до этого не догадывалась. За мамой с той поры я решила приглядывать. Ее мало что стало веселить, визиты к тете стали частыми. А еще мое пребывание на работе стало обязательным – почти каждую субботу мы дежурили на «Куяльнице», а днями я сидела дома под замком одна и читала. Вечером ключ поворачивался в скважине трижды – два раза нижний замок и один раз верхний, потом я могла выйти во двор погулять с мальчиками. С моими друзьями. Девочек во дворе, кроме меня, не было ни одной – никогда. Даже летом, даже на выходные ни к кому не приезжали. С семи лет я не носила платьев – в них неудобно было лазить по крышам и деревьям, с 92-го по 97 год колени у меня не заживали и были вечнозелеными, как ели в парке, а когда появились скейт и ролики, еще и локти. Мальчиков было трое: два Димы и Саша. Саша заикался. Один из Дим был не похож на остальных, он был евреем, а его бабушка тетя Фаня красила волосы в фиолетовый цвет и изъяснялась как-то совсем по-другому: «Так говорила старая Одесса», – объяснила мама.

– Дайте вашу кошку, у нас завелась мышь, – просила тетя Фаня.

– Но наша кошка не ловит мышей.

– А зачем вы ее держите?

– Для ласки.

– Ой, кому она нужна со своей лаской.

У второго Димы мама была завучем, а папы, как и у меня, не было. У Саши родители были разведены. И полный еврейский мальчик Дима во время раздоров периодически кричал нам

с балкона: «Безотцовщины!» – а мы кидались в него песком. Мы могли крикнуть «жид» или что-то типа того, но были выше этого. Каждый из нас был личностью самодостаточной и гордой, девочек мы презирали и считали их существами с другой планеты. В семь лет меня отдали в английскую спецшколу номер 121. Если бы только английскую... С первого класса мы учили еще и польский, и французский. От польского удалось затем, слава Богу, отказаться. В классе были одни девочки, и это был ад.

Я не плакала на бабушкиных похоронах, смотрела, как плачут другие. В первый и в последний раз я видела, как плачет брат. Сразу стало пусто, и я очень переживала за маму. Она очень изменилась, понурилась, стала угрюма и молчалива, стала срывать на злой крик, чего раньше не случалось никогда. В 91-м году жизнь вообще стала портиться, в 92-м маме стали задерживать зарплату, а в 93-м мы уже почти голодали. Мама пекла хлеб, у нас была гречка, потом я ее не могла терпеть лет десять. О том, кто мой отец, я решила не спрашивать уже никогда и сдержала данное себе слово.

Бабушка уже рассказывала про то, что жизнь может быть невыносимой, о том, как в 1933-м их раскулачивали, как они бежали на Донбасс, потом оказались на Западной Украине – ее брат был военным инженером и строил укрепления на границе. Потом она попала в плен. Почему не попал в плен брат, я не понимаю. Всю войну проработала в Германии, потом бежала от наших – ведь освобожденных пленных составами везли в Сибирь. Каким-то образом добралась в Одессу и осталась здесь жить – опять же с братом, который к тому времени уже женился на ленинградке – доценте. Недавно я узнала, что настоящее имя бабушки – Варвара, Варя, а не Валя. Я не знаю, знала ли об этом мама. Вполне вероятно, что так и не узнала.

Бабушка не переносила немецкую речь. Мне разрешено было интересоваться любыми языками, кроме немецкого. А в 93-м я уже начала активно интересоваться политикой – особенно после октябрьского путча Ельцина. В восемь лет вела первые политдневники: «Сегодня танки вышли к Белому дому». В школе у меня все-таки появилась подруга – такая же гордочка, держащаяся особняком девочка, которая не особо любила людей. Ее звали

Лена Тихонская. Она играла на пианино и пела в хоре. Хор часто гастролировал, и я ждала ее неделями. Лет в восемь-девять мою единственную подругу благословил Иоанн Павел Второй. Лена вцепилась маме в руку и запретила показывать это фото директору. «Это нескромно!» – кричала Лена. Но ее мама была иного мнения: «Пусть знают», – отрезала она. И с тех пор фотография Лены с Папой Римским красовалась в кабинете директора.

Лена учила меня играть на пианино, мы делали уроки, и у нее дома всегда была вкусная импортная еда. Квартира была огромной, родители недавно развелись – старшая сестра решила жить с папой, а Лену никто не спрашивал. В 1999 году мама увезла Лену в Англию. Я долго пыталась ее найти, но не могу... Видимо, мама до сих пор многое решает за нее, а может, и нет. Мне иногда снится, что вот Лена вернулась, но я не могу ее узнать, и что лицо ее очень изменилось. Как-то Лена вылила на голову другой девочке ведро грязной воды – та что-то съязвила. Девочка была противная, я смеялась и заступилась за Лену перед учительницей. Нас наказали. Класса с седьмогого я стала хорошо учиться, а Лене все было неинтересно.

Я не особо стремлюсь привязываться к людям. Очень больно потом их терять. Как-то в восьмом классе мы в шутку сели играть с Леной в «Что? Где? Когда?» и выиграли у всего класса – вдвоем; придумывала ответы в основном я, если честно. Но я не люблю солировать публично и всегда стеснялась выступать на публике. А Лена не боялась людей, она их не особо уважала. С тех пор я играю в «ЧГК» (двадцать лет), не люблю что-то менять и покидать насиженные места. Нам было по четырнадцать, когда она уехала.

С высоты тридцати трех лет мой потерянный рай видится сквозь морозное окно памяти, за которым жизнь, за которым тепло и светло, и свято, как в детстве. Это мое самое большое богатство, самая драгоценная кладь, которую я беру с собой повсюду, которой не стыжусь, и которую буду оберегать всегда, что бы со мной ни случилось. И чем больше расширяется моя вселенная, тем ценней мой клад, моя тайна, мое святое детство.